

Григорий Бакланов

Июль 41 года (Фрагмент)

ГЛАВА I

Пакет доставил офицер связи на рассвете. В пути он попал под бомбежку; пыльного, бледного от потери крови, его провели к командиру корпуса, но от дверей он пошел сам, твердо ступая, ловя подошвой качавшийся, уходивший из-под ног пол. Командир корпуса генерал Щербатов, встав от стола, встретил его строгим взглядом. Он еще не знал, что в пакете, но вид человека, доставившего его, ничего хорошего не предвещал. Докладывая наизусть, офицер связи в какой-то момент перестал слышать свой голос. Сквозь горячее, прихлынувшее к ушам, он слышал только усиливающиеся гулкие толчки своего сердца, а лицо и губы обморочно немели. И с единственной страшной мыслью: «Не упасть!» — он подал пакет в пустоту, туда, где только что стоял командир корпуса, а теперь, раздвинувшись, два человека плыли в стороны друг от друга, образуя посредине пустое пространство... Ординарцы, курившие на пригетом, подсыхавшем на утреннем солнце крыльце, видели, как офицер связи шагнул через порог — белый из темноты сеней, бескровные губы сжаты, глаза глядят мимо. Остановился. И прежде чем его догадались подхватить, мутнеющие зрачки покатались под лоб, и как стоял — успел только рукой схватиться за воздух — рухнул на спину, с костяным стуком ударившись затылком о доски пола. А вскоре в рассветном тумане, сквозь который уже грело солнце, разлетелись по всем направлениям связные, нахлестывая коней. В пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу срочно наступать. Вырвавшийся недавно из окружения, потеряв там большую часть тяжелой артиллерии и боеприпасов, корпус состоял фактически из 116-й стрелковой дивизии. Но недавно в него влилась другая дивизия, только что прибывшая на фронт. Она выгружалась в разных местах и неодновременно, этой ночью удалось наконец ее собрать. Корпус стоял в лесах, бои шли севернее. Там наступала немецкая группировка, с каждым часом продвигавшаяся все

дальше. Вклинившись глубоко в оборону, преследуя отступающую армию, группировка эта одновременно создавала реальную угрозу корпусу. Но и он опасно нависал над ее правым флангом, и момент для удара был выбран удачный. Приказом о наступлении командующий армией подчинял Щербатову еще одну дивизию, 98-ю стрелковую, которой командовал генерал Голощеков. Она должна была выгружаться где-то в радиусе семидесяти километров или уже находиться на марше, и приказывалось найти ее. Но Щербатов знал то, что, видимо, не знал еще командующий армией: дивизии этой не было. Она не дошла до фронта. Ее разбомбили в эшелонах, в пути. Единственный полк, успевший выгрузиться и двигавшийся на машинах днем, походной колонной, заметила немецкая авиация, слетелась отовсюду и уже не выпустила живым. На песчаной вязкой дороге Щербатов видел колонну грузовых машин, растянувшуюся на два километра. Они стояли среди бомбовых воронок, сгоревшие, пробитые, осколками. Но были и совершенно целые машины. В кузовах вповалку лежали бойцы. Как сидели они тесно, с винтовками между колен, так лежали сейчас, расстрелянные сверху из пулеметов. Молодые, крепкие ребята, во всем новом, с противогазами в холщовых сумках, со скатками через плечо, иные в касках на головах. Возможно, даже увидели самолеты и смотрели на них снизу: любопытно — немецкие, не видели еще ни разу. И далеко по обе стороны от колонны лежали в поле убитые: кто успел выскочить и бежал и за кем после гонялись самолеты. Вот эту дивизию подчиняли теперь Щербатову приказом о наступлении. Постепенно стали прибывать командиры, вызванные на совет. Первым прибыл полковник Нестеренко, могучий, красный и седой, в выгоревшей гимнастерке, но в новых ремнях и сверкающем оружии. Командир другой дивизии, входившей в корпус Щербатова, полковник Тройников, по годам почти что годился Нестеренко в сыновья. Он опоздал на совет. В одиночку разбойничавший над дорогой «мессершмитт» погнался в степи за его машиной. И если б не адъютант, сидевший сзади, Тройников, наверное, не заметил бы, как выскочил самолет из облачка. Дважды зайдя издалека, «мессершмитт» пикировал на них, стремительно сближаясь со своей тенью. И все это вместе в сумасшедшем вихре несло по степи: крошечная машина, вздымающая хвост пыли до небес, огромная тень, простертыми крылами скачущая за ней вслед по рытвинам, и сверху с

металлическим звоном косо скользящий к земле самолет, блестящий и маленький по сравнению со своей тенью. Машина резко кидалась вбок, тень перескакивала ее. Свист, треск пулеметов над головой, хлещущие по земле очереди. Самолёт взмывал вдали, и только обезглавленный хвост пыли некоторое время сам двигался по дороге, словно сохранив стремительность погони. Тройников мог бы скрыться в лесу, но там был штаб корпуса, он не хотел навести на него «мессершмитт». И снова все начиналось сначала: машина выбиралась на дорогу, а из-за края степи уже нёсся на неё самолёт. Опять, сливаясь, дорога летела навстречу. Скорость была такая, что и какой-то момент Тройников физически почувствовал, как все остановилось, повисло в пространстве: и машина, и самолёт в воздухе. Исчезли звуки, только ветер давил на уши. И в эту пустоту со свистом пушечного снаряда косо ворвался самолёт. Он взмыл у самого горизонта. В последний раз «мессершмитт» пошёл в лоб. Солнце светило встречно, и тень его осталась за холмами. Она выскочила оттуда, когда пулемётные очереди уже мели по дороге, гоня навстречу машине пыль. Был мгновенный и острый холодок под сердцем, но голова осталась трезвой и руки прочно держали руль.

— Пригнись!.. Туда, навстречу хлещущим пулемётным очередям, толкнул Тройников машину и проскочил. Не сбавляя скорости, оглянулся. Он увидел затылок адъютанта, с которого ветер сдул волосы наперёд. Адъютант смотрел вслед исчезающему в небе самолёту. Пыльный, успев только руки помыть, вошёл Тройников на совет. В нем ещё дрожал поостывший азарт. Тем сдержанней, холодней был он внешне. Только в чёрных, горячих глазах посвечивало что-то. Начальник штаба корпуса генерал-майор Сорокин, которому предстояло ознакомить командиров с задачей, покачал головой:

— Заставляете себя ждать, полковник! Он волновался, как школьник перед экзаменом, и опоздание Тройникова в такой момент воспринял как личный выпад. И уже все в Тройникове показалось ему неприличным: и молодость его, и пышущее здоровье, и даже то, как он носил планшетку на длинном, до колена ремешке. Покраснев сквозь загар, отчего лицо его стало смуглей, Тройников сказал сдержанно:

— Прошу простить за опоздание. И занял своё место. Сорокин поднялся, костистыми кулаками упёрся в стол.

— У всех приготовлены карты? И откашлялся. Незадолго до войны, совершенно неожиданно для себя, Сорокин был произведен в генералы. Он и сейчас, еще не понимал хорошенько, как это ему удалось взять рубеж, который для многих остается предельным. Недаром же в армии говорят: полковник — это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит лейтенант. Он до сих пор испытывал возбуждающее удовольствие, нечто вроде радостного шока, когда ему приносили на подпись бумаги, и в левом нижнем углу, выведенное писарским каллиграфическим почерком, он видел: «Начальник штаба 15-го стрелкового корпуса генерал-майор», а в правом, взятое в прямые скобки, «Сорокин». Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся у него теперь при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись. Этот акт был исполнен для него некоего торжества, а писарям казалось вначале, что он сердится, не любит подписывать бумаги. Большую часть жизни своей Сорокин истратил на то, чтобы, повышаясь постепенно, небойко, проходя все стадии и ступени и даже задерживаясь на них, дорасти до начальника штаба полка. Он понимал, что карьера его лишена блеска, — ну что ж, зато она была основательна, и он находил удовольствие в том, чтобы ставить ее в пример молодым. И вдруг, когда он уже был немолод и уже не был честолюбив, в какие-нибудь три года он из начальника штаба полка вырос до начальника штаба корпуса и генерал-майора. Никто не верит в свою неодаренность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен (во всяком случае, не глупей других), и способностями бог не обделил его, да только обстоятельства против него сложились... Во что, во что, а уж в это каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их даны людям чаще всего в обратной пропорции. Сорокин понимал, конечно, что между начальником штаба полка и начальником штаба корпуса — существенная разница. Но раз вышестоящее начальство, люди ответственные, видели его в этой должности, — значит, они видели в нем те скрытые возможности, которых сам он не видел в себе до сих пор. И он увидел их. А увидев, поверил в себя. Эта вера отражалась теперь во взгляде его, в походке, в том, как он ставил ногу в своем новом генеральском, с

твердым голенищем, бутылкой сшитом сапоге. И все-таки утрами, когда дух подавлен (утром только дети просыпаются румяные и свежие, и им сразу же хочется играть, а в его возрасте по утрам — дурной вкус во рту, мысли всякие, и с беспощадной резкостью видны все морщины), — утрами, когда он, не разогревшийся даже гимнастикой, а только уставший, брился перед зеркалом и видел свою седеющую грудь, оттягивал лишнюю кожу на шее, складки которой становилось все трудней выбривать, когда он смотрел на свои пальцы, плоские на концах и теперь большей частью холодные, — томило сомнение: поздно, ох поздно пришло это к нему... Годков бы хоть на пяток пораньше. Война и сразу обрушившиеся тяжелые поражения смяли Сорокина. Это было так все непостижимо, непохоже на то, во что он верил и что знал. И главное, он не чувствовал в себе сил изменить что-либо. В горькие часы ночного раздумья за одно только упрекал он свою судьбу, что дожил, своими глазами увидел это. Сегодняшнее утро было утром его торжества. Он разрабатывал план наступления. С чисто выбритыми, покрасневшими, вздрагивающими щеками, ежеминутно откашливаясь, потому что садился и глох голос, он ставил задачи командирам дивизий. В просторной горнице лесника с низкими окнами в толстых бревенчатых стенах, со свежим сосновым потолком и выскобленным полом командиры тесно стояли над оперативной картой, расстеленной на двух столах. Сквозь двойные невыставленные рамы и герани на подоконниках ломилось утреннее солнце, жгло спины и шеи. Над склоненными головами, среди которых уже посвечивали загаром лысеющие затылки, плыли, колышась, пласты табачного дыма, попадая то в солнце, то в тень. Худая с синими венами рука Сорокина вела указкой по карте, прочерчивая оперативную мысль. И в строгой тишине раздавался только его глуховатый голос. Командир корпуса генерал Щербатов со стертым до серебра времен гражданской войны орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, каких теперь уже осталось немного, как и людей, некогда получавших их, сидел, нагнув широколобую голову, молчанием своим властно подтверждая каждое слово Сорокина. Комиссар корпуса, полковой комиссар Бровальский не мог усидеть на месте. Отойдя в тень, ягодицами опершись о прижатые к стене руки, он переводил глаза с одного лица на другое, и во взгляде его светился наивный восторг. Он чувствовал себя как человек, приготовивший подарок, о

котором люди ещё не знают, и заранее предвкушал удовольствие того момента, когда подарок будет вскрыт и показан всем. Тихо на краешке стола курил начальник особого отдела Шалаев. Он носил в петлицах две шпалы — скромное звание «батальонный комиссар». Но, возможно, по другой линии было у него и другое звание. Он смотрел не на карту. Зорко прищуренными, неулыбчивыми глазами вёл он по лицам. И курил. Синеватый дымок его папиросы истаивал в солнечном луче. На равнине, прикрыв левый фланг лесом и ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиации не было, рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой. Чтобы как-то выровнять положение, уменьшить основное преимущество немцев, Щербатов решил начать атаку не на рассвете, когда впереди оставался весь световой день и авиация немцев могла хозяйничать над полем безнаказанно, а начать её за два часа до захода солнца. Это было смело и непривычно. Ночью бой распадается на множество одиночных боев, управлять людьми на расстоянии становится почти невозможно, и Тройников понимал, что труднее всего будет его необстрелянной дивизии. Но он слушал с захватывающим интересом. Его только отвлекала дрожь ноги Бровальского, которую он все время ощущал рядом с собой. С того момента, как было произнесено вслух то, что составляло изюминку плана — начать атаку за два часа до захода солнца, — Бровальский уже неотступно стоял позади Сорокина, смотрел через его плечо, с трудом унимая нервную дрожь ноги. Сам он практически в разработке плана не участвовал, но он присутствовал на всех стадиях составления его. И его радость, радость политработника, была, как всегда, не за себя, не за свои личные успехи, а за успех людей, с которыми он работал, за чьей спиной незримо стоял. И результатом его работы всегда были не сами дела, а люди, совершавшие эти дела. Он же оставался в тени, согретый сознанием, что нужен людям. Сейчас со все возрастающим нетерпением, которое ему становилось трудно сдерживать, он ждал, когда будет произнесено то, что составляло вторую особенность плана. И когда это было произнесено, он незаметно отошёл в тень к стене. За все время им лично не было сказано ни одного слова, но он выложил свой душевный заряд, и теперь от стены влюблёнными глазами смотрел на людей, которые этот заряд

получили. Быть может, они даже не подозревали этого, но он радовался за них. Второй особенностью плана было решение Щербатова начать атаку внезапно, без артподготовки. Корпус не мог надеяться на то, что боеприпасы ему подвезут. Приходилось рассчитывать на себя, надо было беречь снаряды, чтобы контратакующие немецкие танки встретить огнём. Тройников посмотрел на командира корпуса. Тот сидел все так же, положив перед собой на стол руки, сцепленные пальцы в пальцы, — руки, в которых он сейчас держал судьбу всей операции. Лицо было неподвижно, веки опущены. За все время, пока говорил начальник штаба, он ни разу не поднял их. И вдруг нечто похожее на зависть к нему шевельнулось у Тройникова. Зависть к широте, к масштабам и возможностям, сосредоточенным в его руках. Что это: частная отвлекающая операция или начало большего? А если начало, тогда сейчас уже должна прорисовываться главная цель. Щербатов поднял голову, странным взглядом обвёл всех присутствующих, посмотрел на часы:

— Прошу высказывать соображения. И опять прикрыл глаза веками, приготовясь слушать. В лице его отчётливо проступило нетерпеливое выражение. Все планы, все наилучшим образом выбранные средства имеют тот постоянный недостаток, что в ходе операции они могут оказаться просто негодными. Две вещи никогда до конца не предугаешь: меняющуюся обстановку и волю противника. Его могло бы разубедить в своих опасениях только одно: ещё одна полнокровная дивизия, которую в решительный момент он бросил бы на весы боя. Этой дивизии никто из присутствующих здесь командиров дать ему не мог. Она погибла, не дойдя до фронта. Все остальное Щербатову было безынтересно. Он давно уже переступил ту грань человеческого самолюбия, когда чрезвычайно важно знать мнение окружающих о себе, когда человек, похваливший тебя, начинает вдруг безотчётно нравиться, становится интересным, близким, чуть ли не другом тебе, с ним хочется ещё и ещё говорить. Это честолюбие перегорело в нем, оставив в душе горстку пепла. За все время совета ни один уголёк не затлелся в ней, хотя были в плане моменты, которые в общем могли бы доставить ему удовлетворение. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не рассеиваться, прислушиваясь единственно к своему внутреннему чувству. Щербатов хотел выверить план на людях. Он по опыту знал: то, что наедине с собой иногда кажется особенно

удачным, на людях вдруг вызывает резкое чувство стыда. Он сидел и слушал, опустив глаза. Он ни разу не испытал стыда. Но и радости он тоже не испытал.

— Кто ещё? — спросил Щербатов, когда Нестеренко, закончив, сел.

— Разрешите. — сказал Тройников. Он встал, но в этот момент Бровальский подошёл к командиру корпуса, что-то тихо сказал ему, показывая на часы, и, прощально улыбнувшись всем, как бы прося не отвлекаться, вышел — отлично сложенный, мускулистый, с выправкой строевика. В тот час у него уже собрались отдельно политработники, и он шёл не только ознакомить их с задачей корпуса, но и вселить в них радостную уверенность. Чтоб эту радостную уверенность комиссары, парторги и комсорги понесли в батальоны, в роты, донесли до сердца каждого бойца переднего края. Тройников спокойно ждал. Он единственный из всех присутствующих ещё не воевал и понимал, какой отпечаток кладёт это на все его предложения. В голосе его чувствовалось явное колебание, когда он сказал:

— Средства достижения цели выбраны наилучшие. Но я не вижу цель. Впервые за весь совет Щербатов с живым интересом глянул на него. Сощурился, словно приходилось разглядывать издали, смотрел он на человека, который не видит цели. Сам он, если б его спросили, не видел значительно большего. Не только цели, но и средств достижения её. Для серьёзной операции у него просто не было их. И серьёзных данных разведки тоже не было. Он готовился наступать почти вслепую. И все эти хитрости в плане, которыми Бровальский гордился, все это вынужденное, не от силы, от слабости. Как хитростью и смекалкой победить авиацию противника... Но тут на углу стола завозился Шалаев.

— Нехорошо-о... — сказал он и покряхтел, уверенный, что его не перебьют, что к словам его и даже к его кряхтению прислушиваются со вниманием. — Нехорошо! Не видеть цели, когда идёт война с фашизмом... И это говорит советский командир!.. Как человек, сказавший нечто удачное, он оглянулся, уверенно ожидая в этом месте встретить сочувственные улыбки. И не встретил ничьих глаз. Тишина затягивалась. И чем дольше затягивалась она, тем неуютней, хуже начинал чувствовать себя Шалаев. Он уже догадался, что сделал что-то не так. Выждав время,

Тройников посмотрел на него. Совершенно спокойными стеклянными глазами. Потом посмотрел на командира корпуса.

— Прошу продолжать! — повысил голос Щербатов, наливаясь гневом. Лицо его покраснело, заметней стала седина. Некоторое время слышно было одно его тяжелое дыхание. Если у него на совете, в его присутствии считали возможным ставить под сомнение политическую сознательность одного из двух его командиров дивизий, осмеливались в назидание всем, как мальчишку, учить полковника и коммуниста азбучным истинам, то в первую очередь это было оскорбление ему. А этого Щербатов принять не мог, и значит, этого не было. Когда Тройников заговорил вновь, все отчего-то старались не смотреть друг на друга. А на углу стола сидел бледный до желтизны Шалаев и, не владея лицом, нервно улыбался. Ожидай он заранее, что слова его вызовут такую реакцию, он бы не сказал их. Но с ним случилось то, что случается с людьми, слишком уверенными в себе. Все время, пока шел совет, он следил не за ходом военной мысли, в которой он, быть может, и не так хорошо разбирался, а за тем, как реагируют на полученный приказ командиры частей и соединений. Нестеренко реагировал правильно, так, как и следовало ожидать. И хотя в биографии его были моменты, о которых забыть не пришло время, Шалаев в определенных границах доверял ему и с удовлетворением видел, что не ошибся. Тройников же заявил сразу и вполне определенно: «Я не вижу цель». Не видеть цель, когда идет война с фашизмом, — такие слова нельзя было оставить без ответа. Тем более что они могли повлиять на других командиров. И он ответил на них должным образом. Но хотя слова Тройникова были совершенно определены и ясны, теперь он видел, что в них содержался другой, военный смысл, который здесь поняли все и вовремя не понял он один. Вот это обнаруживать не следовало. А главное, он перешел ту грань, которую ему переходить не разрешалось. Это было все равно что превысить власть. За превышение власти не хвалили. С этой минуты в нем зрела безотчетная ненависть к Тройникову, такая, что временами обмирало сердце. Он не мог удержаться и взглядывал на него, бессознательно отыскивая то черты, которые эту ненависть могли укрепить. И в то же время безошибочным чутьем, которое в равной мере есть у животных и у людей, особенно у людей нерешительных, позволяя им иногда выглядеть смелыми, чутьем

этим Шалаев чувствовал, что Тройников не боится его. Командир корпуса бывал несдержан в гневе, но, читая в душах, Шалаев видел, что перед той силой, которая негласно стояла за ним, Щербатов нетверд. И, будучи всего батальонным комиссаром, что соответствует майору, он держался с командиром корпуса уверенно. Эта уверенность сегодня подвела его. Во все время совета — и пока Тройников говорил, и после, когда он сидел, слушая соображения других, — он, как холод щекой, чувствовал ненависть, исходившую на него от человека, на которого он ни разу с тех пор не взглянул. А за окном было уже позднее утро, солнце растопило смолу на стволах сосен, ею сильно пахло в лесном воздухе. Под навесом сарая ординарцы, забавляясь, повалили на землю щенка и по очереди соломинкой щекотали его тугой, раздувшийся от молока живот. Щенок, вывалявшись в пыли и сухом конском помете, скалил молодые клыки, лязгал ими, пытаясь укусить. Ординарцы хохотали, смачно сплевывая и куря, как поговору не замечали лесника, хозяина дома. Высокий жилистый мужик в зимней шапке, под которой он прятал лысину, с бородой святого и глазами разбойника, он то из-за одного угла появится, то из-за другого, то веревочку подберет с земли, то гвоздик — мало ли добра раскидано, где военные стали на постой! — а сам глядел-глядел, чтоб солдаты сигарками не спалили сарай. За смехом и разговорами о пустяках ординарцы и связные помалкивали о главном, томились, ожидая, когда кончится совет. Множество телефонных проводов с крыльца и из форточек штаба тянулось в лес, чтобы донести в штабы дивизий и дальше зашифрованные приказы, когда придет время передать их. Но уже по другим проводам, идущим от сердца к сердцу, дошел до людей главный смысл происходящего. Отпустив всех, Щербатов еще некоторое время работал с начальником штаба над картой. Потом он отпустил и Сорокина, тот ушел, забрав папку с документами и карандашами, и Щербатов остался один. И то неприятное, что не забылось, а только отодвинулось за делами, теперь напомнило о себе. Он оглядел избу, проходя, глянул на угол стола, где сидел Шалаев. Никто, возможно, не заметил и не понял, почему он, вдруг рассердясь и покраснев, повысил голос на командира дивизии, была только общая неловкость, но он-то хорошо понимал причину и знал. И рана, о которой напомнили, заныла сильнее. Все это началось не сегодня и не вчера, а много раньше. Он даже не смог

бы сказать точно, когда это началось, но один момент он запомнил ясно. Он тогда впервые испытал унижительное чувство, отголосок которого прозвучал сегодня в его душе. Тогда собрания шли часто, и бывало так, что на одном собрании человек выступал с разоблачениями, а уже на следующем про него говорили: «Как мы оказались настолько политически близорукими, что смогли проглядеть врага, продолжительное время безнаказанно орудовавшего среди нас?» И вот на таком собрании капитан, один из его командиров рот, тихий, бесцветный человек, вдруг попросил слова. И пока он шёл по проходу, очень спокойный, обдергивая на себе гимнастёрку, все что-то почувствовали. Закрытый по грудь трибуной — только плечи и голова его поднимались над ней, — он прокашлялся в кулак, показав свою плешивую макушку.

— Товарищи! И с этим словом, положив обе руки на трибуну, он прочно утвердился на ней.

— Политический момент, который переживает сейчас наша страна, титаническая борьба, которую ведёт наша партия под руководством верного продолжателя дела Ленина, гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина (он первый заплодировал, высоко подымая руки над трибуной, как бы показывая их, и в зале, и в президиуме заплодировали, многие с восторгом), эта борьба, товарищи, требует от каждого из нас не только бдительности, но и партийной принципиальности. Он говорил глуховато, званием он был младше многих, но с тем, что он говорил с трибуны, он как бы поднялся надо всеми. И каждый вслушивался, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти.

— Давайте спросим себя, как коммунист коммуниста, спросим, положи руку на сердце: «Всегда ли мы искренни перед партией? Всегда ли мы оказываемся способны стать выше личных, приятельских отношений?» И, положив руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой:

— Нет, товарищи! Не всегда! Вот среди нас сидит полковник... Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза, глаза своего подчинённого, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошёл по рядам.

— ...Вон там в углу сидит полковник Масенко. И весь зал обернулся туда, куда указал палец с трибуны, и каждый, кто знал

Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его: белый, пригвождённый, сидел он, чем-то незримым сразу отделившись ото всех.

— А ведь вы неискренни перед партией, товарищ Масенко! Я бы на вашем месте вышел сюда, — в тишине раздался чёткий стук костяшек пальцев по доске трибуны, — и рассказал присутствующим коммунистам... В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троцкистов? Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?.. А по проходу уже шёл, почти бежал пожилой полковник Масенко, рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо, его прошиб пот, он шёл, утираясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшее обвинение. Перед ним отводили глаза.

— Я скажу... скажу!.. — кричал он ещё снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где ещё стоял капитан:

— Я скажу-у! Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко... Приятный скромный человек с боевой биографией. Троцкист!.. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-я-яй!.. А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающе тряс щеками, и постепенно из-за общего шума поражённых открывшимся людей стал все-таки слышен его голос:

— Я был. Да. Я был послан... Я по заданию партии... А вы, голубчик... Вы как же? Вы почему меня видели там? Как вы там были? И я ещё скажу. Я сам хотел сказать... выйти. Я назову. Щурясь с яркого света сцены в зал слепыми от волнения глазами, он кого-то искал и не мог разглядеть.

— Я назову... Зал затих.

— Вот... вот, пожалуйста... Капитан Городецкий был тогда... посещал. Полковник Фомин. Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами все выше подымался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то ещё.

— Вот... Сейчас... Вот... И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он, ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый, со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его

жизнь может быть зачеркнута крест-накрест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать, но он сидел перед надвигавшимся, оцепенение сковало его. А потом вместе со всеми он обернулся на того, кого указал трясущийся палец Масенко. Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе, но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих: ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поискать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти: либо прошлые связи, либо был за границей. Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестиэтажный, серый, со всех четырех сторон окружив собой двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочники для малышей, заровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них заливали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся нарядные дети, и среди них — тайком проникшие сюда дети с соседних дворов. Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины: люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидание опустились на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет. В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. В чью постучатся дверь? Напротив жил профессор-хирург. Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола. Туда, где лежал пистолет. Теперь по ночам он перебирал бумаги. Готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была гражданская война. Славные имена друзей, их письма, все это теперь могло стоять жизни. Бесшумно вошла жена в халате поверх ночной рубашки. Так они сидели: он — в кресле, она — на краешке дивана, запахнув халатик на коленях, босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча — большие глаза на белом лице. Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей, спокойной жизни. За ее толстой обивкой

умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой и те, кому важно было, чтоб все это совершалось и тишине, и те, у кого крик души рвался наружу. Только ниже, ниже по спирали лестницы затихавшие шаги многих ног. Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек — человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине; сверху и машина и люди казались расплюснутыми на асфальте на виду всего дома, спасаясь от взглядов, от позора, профессор, спеша, сам сунулся непокрытой головой вперед, в распахнутую для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца — гулко отдалось в каменном колодце двора, в пониженной тишине. Взревев мотором, машина скрылась, а на том месте, где стояла она под дождем, осталось сухое пятно на асфальте и трое дворников в белых, словно на праздник надетых, фартуках.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.